

Говард Филлипс Лавкрафт

Музыка Эриха Занна

(The Music of Erich Zann)

Я с величайшим усердием просмотрел карты города, но так и не нашел на них Rue d'Auseil. Конечно, названия меняются, поэтому я пользовался не только новейшими картами. Напротив, я досконально изучил старые справочники и лично обследовал многие уголки города, улицы которых напоминали ту, что я знал под названием Rue d'Auseil. Но, несмотря на все старания, я, к стыду своему, не могу найти дом, улицу или даже часть города, где в последние месяцы моей убогой жизни студента-метафизика местного университета я слушал музыку Эриха Занна.

Я не удивляюсь своей короткой памяти, ибо мое здоровье, физическое и душевное, было сильно подорвано в ту пору, когда я жил на Rue d'Auseil, я даже припоминаю, что не завел там ни одного из моих немногочисленных знакомств. Но то, что я не могу отыскать это место, удивительно и загадочно: ведь я жил в получасе ходьбы от университета на улице столь примечательной, что вряд ли позабыл бы ее приметы. Но мне еще не повстречался ни один человек, видевший Rue d'Auseil.

Эта улица находилась по другую сторону темной реки, окруженной кирпичными товарными складами со слепыми тусклыми окнами, с громоздким мостом из темного камня. Здесь всегда было туманно, словно дым соседних фабрик постоянно скрывал солнце. От реки исходили дурные запахи, каких я не припомню в других местах города. Они могли бы помочь мне в моих поисках, я тотчас уловил бы эту характерную вонь. За мостом брали начало узкие мощенные булыжником улицы с трамвайными рельсами, потом начинался подъем – сначала плавный, а потом, у подхода к Rue d'Auseil, очень крутой.

Я нигде не видел улицы более узкой и крутой, чем Rue d'Auseil. Она взбегала в гору и считалась пешеходной, потому что в нескольких местах приходилось подниматься вверх по лестнице, а в конце она упиралась в высокую, увитую плющом стену. Улица была вымощена булыжником, но местами – каменными плитами, а кое-где проглядывала голая земля с едва пробивающейся буровато-зеленой растительностью. Дома – высокие, с островерхими крышами, невообразимо древние, шаткие, покосившиеся вперед, назад, вбок. В некоторых местах дома, стоявшие друг против друга и накренившиеся вперед, почти соприкасались посреди улицы, образуя что-то вроде арки, сильно затеняя все внизу. От дома к дому на другой стороне было переброшено несколько мостиков.

Но особенно впечатляли обитатели улицы. Сначала я заключил, что они молчаливые и замкнутые, а потом понял, что все они очень старые. Не знаю, почему я там поселился, наверное, был немного не в себе, когда туда переехал. Я жил во многих бедных кварталах, и меня всегда выселяли за неуплату ренты. И вот наконец я оказался на Rue d'Auseil, в полуразрушенном доме, где консьержем служил парализованный Бландо. Это был третий дом с вершины холма и, пожалуй, самый высокий.

Моя комната была единственной жилой на пятом этаже почти пустого дома. В первый же вечер я услышал странную музыку, доносившуюся из мансарды под островерхой крышей, и на следующий день поинтересовался у старого Бландо, кто играет. Он сказал, что играет на виоле старый немец, глухой чудака. Судя по записи, его зовут Эрих Занн. По вечерам он играет в оркестре в дешевом театре. Бландо добавил, что Эрих Занн поселился в мансарде под самой крышей, потому что имеет обыкновение играть в поздние часы после возвращения из театра. Слуховое окошко в мансарде – единственное место, откуда открывается панорама за стеной, замыкающей Rue d'Auseil.

С тех пор я каждую ночь слышал игру Занна, и, хоть он не давал мне спать, я был словно околдован его таинственной музыкой. Я не полагал себя знатоком и тонким ценителем музыки, и все же меня не покидала уверенность, что я никогда раньше не слышал ни одной из мелодий, которые он играл, и потому заключил, что Занн – композитор, наделенный редким даром. И чем больше я его слушал, тем больше меня зачаровывала его музыка. Через неделю я решил свести с ним знакомство.

Однажды поздним вечером, когда Занн возвращался с работы, я перехватил его в коридоре и сказал, что хотел бы с ним познакомиться и побывать у него в мансарде, когда он будет играть. У Занна, маленького, худого, согбенного, в потертом костюме, было насмешливое лицо сатира, голубые глаза и почти лысая голова. Мое обращение, казалось, его сначала рассердило и испугало. Но в конце концов несомненное дружелюбие смягчило старика, и он нехотя сделал мне знак следовать за ним по темной шаткой чердачной лестнице. Его комната, одна из двух мансард, притулившихся под островерхой крышей, выходила на запад, к высокой стене в верхней части улицы. Просторная комната казалась на вид еще больше: она была очень пустой и запущенной. Узкая железная кровать, грязный умывальник, большой книжный шкаф, железная подставка для нот и три старомодных стула составляли всю меблировку. На полу лежали в беспорядке кипы нотных листов. Дощатые стены комнаты, по-видимому, никогда не штукатурили. Пыль, лежавшая повсюду толстым слоем, и паутина усиливали общее впечатление запущенности и заброшенности. Вероятно, мир прекрасного Эриха Занна находился далеко отсюда, в космосе воображения.

Глухой старик предложил мне движением руки сесть и, закрыв дверь на деревянный засов, зажег вторую свечу. Потом он достал из побитого молью футляра виолу и уселся на самый устойчивый из своих шатких стульев. Он не осведомился, что бы я хотел услышать, и принялся играть по памяти. Я как зачарованный больше часа слушал незнакомые мелодии, очевидно его собственного сочинения. Лишь опытный музыкант смог бы определить их суть. Они напоминали фуги с повторяющимися пленительными пассажами, но я сразу отметил, что в них отсутствовала таинственность, свойственная музыке, которую я слышал раньше в своей комнате.

Те памятные мелодии преследовали меня, и я часто напевал или насвистывал их, слегка перевирая. Когда скрипач положил наконец свой смычок, я спросил, не сыграет ли он одну из них. При этой просьбе на сморщенном лице старого сатира безмятежность, с которой он играл, сменилась странным выражением гнева и страха. Подобное выражение я видел на его лице в тот вечер, когда впервые остановил его в коридоре. Я принялся было уговаривать скрипача, считая его опасения причудами старческого

возраста. Я даже попытался пробудить его диковинную фантазию, насвистывая мелодии, услышанные накануне. Но уговоры пришлось тотчас прекратить: когда глухой старик узнал свою мелодию, его лицо дико исказилось, и костлявая рука потянулась к моему рту с явным желанием немедленно прекратить неумелое грубое подражание. При этом он, к моему удивлению, бросил встревоженный взгляд в сторону единственного занавешенного окна, будто боялся появления незваного гостя. Мне его выходка показалась нелепой вдвойне: высокая мансарда, возвышавшаяся над крышами соседних домов, была практически недоступна. По словам Бландо, на этой взбегающей в гору улице лишь из окна мансарды Занна можно было заглянуть поверх стены.

Опасливый взгляд старика напомнил мне эти слова, и у меня возникло искушение увидеть широкую, захватывающую дух панораму – залитые лунным светом крыши, огни города у подножия горы – то, что из всех обитателей улицы мог увидеть лишь похожий на краба музыкант. Я шагнул к окну и раздвинул бы неописуемо грязные шторы, если бы глухой старик не проявил еще большего гнева и испуга. На сей раз он нервно кивнул головой в сторону двери, а потом, вцепившись в меня обеими руками, попытался силой подтолкнуть меня туда. Обозлившись на хозяина, я велел ему тотчас отпустить меня, добавив, что и сам уйду. Старик увидел негодование и вызов на моем лице и слегка разжал пальцы. Казалось, он немного поостыл. Потом он снова схватил меня за руки, но на сей раз вполне дружелюбно и подтолкнул к стулу. Сам он грустно подошел к заваленному бумагами столику и принялся что-то писать карандашом по-французски, напряженно, как все иностранцы.

В записке, которую он наконец протянул мне, старик призывал меня проявить терпение и сдержанность: он стар, одинок и подвержен необычным страхам и нервным расстройствам, связанным с его музыкой и некоторыми другими обстоятельствами. Далее Занн писал, что получил удовольствие от интереса, проявленного мною к его музыке, и приглашал в гости снова, заклиная не обращать внимания на его эксцентричное поведение. Он не в состоянии играть другим свои фантазии и слушать их в чужом исполнении. К тому же он не переносит, когда чужие прикасаются к чему-либо в его комнате. До нашей встречи в коридоре он и не представлял, что мне слышна его игра, и теперь просил меня переселиться, с согласия Бландо, пониже, где мне не будет слышна его игра. Занн изъявлял желание покрыть разницу в оплате.

Разбирая его скверный французский, я ощутил большее расположение к старику. Он был такой же жертвой физического и умственного расстройства, как и я сам. Занятия метафизикой сделали меня добрее к людям. Вдруг тишину, царившую в комнате, нарушил еле различимый звук – вероятно, ставни дрогнули под напором ночного ветра. Я, как и Эрих Занн, испуганно вздрогнул. Прочитав записку до конца, я пожал старику руку, и мы расстались друзьями.

На следующий день Бландо переселил меня в более дорогую комнату на третьем этаже. Она помещалась между апартаментами ростовщика и комнатой, которую занимал солидный обойщик. На четвертом этаже подходящей комнаты не оказалось.

Вскоре обнаружилось, что Занн вовсе не стремится к общению со мной. В тот раз, когда он уговаривал меня отказаться от комнаты на пятом этаже, у меня, оказывается,

сложилось ложное впечатление. Занн не приглашал меня в гости, а если я являлся незваным, он держался скованно и играл без всякого вдохновения. Это всегда происходило по ночам: днем он спал и никому не открывал дверь. Признаюсь, я не испытывал к Занну растущей привязанности, хотя его мансарда и таинственная музыка сохраняли для меня странную притягательную силу. У меня возникло любопытное желание посмотреть из окна его мансарды поверх стены на невидимый город, лежащий на склоне горы, освещенные луной крыши и шпили. Как-то раз я поднялся в мансарду в то время, когда Занн играл в театре, но дверь была заперта.

И все же мне удалось подслушать ночную игру глухого старика. Сначала я на цыпочках пробирался в свою старую комнату на пятом этаже, потом осмелел и поднялся по скрипящей лесенке, ведущей в его мансарду. Здесь, в узком коридорчике за дверью, запертой на ключ, я слушал его фантазии и преисполнялся несказанным ужасом перед неведомой тайной. Его музыка не терзала мой слух – нет, но она вызывала ощущение взвешенного, а порой обретала полифоничность, несовместную с одним-единственным исполнителем. Конечно, Занн был гений невиданной мощи. Шло время, и его игра становилась все более исступленной, а сам музыкант – изможденным, замкнутым и жалким. Занн больше не звал меня к себе, а встретив на лестнице, отворачивался.

Однажды ночью, стоя по обыкновению за дверью, я услышал, как визг виолы перерос в ужасающую какофонию, кромешный ад, заставивший меня усомниться в собственном здравомыслии. Но демонское беснование доносилось из-за двери, и это, к сожалению, доказывало то, что ужас был реален. Такой страшный нечленораздельный звук мог вырваться лишь у глухонемого в момент беспредельного ужаса или безысходного отчаяния. Я несколько раз постучал в дверь, но ответа не последовало. Потом я долго ждал в темном коридоре, дрожа от холода и страха, и наконец услышал, как бедный музыкант пытается подняться, цепляясь за стул. Полагая, что он пришел в себя после припадка, я снова постучал и на сей раз, желая успокоить его, громко назвал свое имя. По шагам Занна я понял, что он подошел к окну, закрыл ставни, окно, задвинул штору и лишь потом нетвердой походкой направился к двери. Он с трудом отодвинул засов и впустил меня, искренне обрадовавшись гостю. Его искаженное болью лицо смягчилось, и он вцепился в рукав моего пальто, как дитя цепляется за юбку матери. Жалкого старика все еще била дрожь. Он принудил меня сесть и сам опустился на стул, возле которого валялись виола и смычок. Некоторое время Занн сидел неподвижно, странно кивая головой, будто напряженно и испуганно прислушивался к каким-то звукам. Наконец он, как мне показалось, успокоился, пересел на стул возле стола и, написав что-то на бумаге, передал записку мне. Потом Занн вернулся к столу и принялся писать, быстро и неотрывно. В записке он заклинал меня милосердия ради и ради удовлетворения моего собственного любопытства дожидаться, пока он подробно изложит по-немецки все чудеса и ужасы, приключившиеся с ним. Я ждал, а карандаш глухого музыканта так и летал по бумаге.

Прошел час, я все еще ждал, а кипа лихорадочно исписанных стариком листов на столе росла и росла. Вдруг Занн вздрогнул, словно предчувствуя какое-то страшное потрясение. Он вперился взглядом в занавешенное окно и, дрожа всем телом, вслушивался в тишину. Потом и мне почудились какие-то звуки – не устрашающий вой или рев, а ласкающие слух низкие очень далекие мелодичные звуки, будто кто-то играл

по соседству или внизу, за высокой стеной – в тех домах, что я никогда не видел. Эти звуки повергли Занна в ужас. Бросив карандаш, он встал, поднял виолу и наполнил ночную тишину самой неистовой музыкой, какую мне доводилось слышать в его исполнении, не считая тех случаев, когда он играл за закрытой дверью.

Я не нахожу слов, чтобы описать игру Занна в ту страшную ночь. Она казалась мне еще более исступленной, чем все, что я слушал тайком, потому что по выражению лица музыканта я понял, что им движет нечеловеческий страх. Он играл очень громко, желая заглушить или даже отвратить что-то мне непонятное, повергающее его в благоговейный трепет. Игра Занна, фантастичная, безумная, истеричная, не утрачивала гениальности, свойственной, по моему глубокому убеждению, этому удивительному старику. Я узнал мелодию – это был неистовый венгерский танец, который так часто исполняют в театрах. У меня промелькнула мысль, что я впервые слышу, как Занн играет музыку другого композитора.

Все громче и громче, все отчаянней кричала и стонала безумная виола. Музыкант, изгибаясь, как обезьяна, обливался потом и не сводил затравленного взгляда с занавешенного окна. Я словно наяву видел, как его игра вызывала тени сатиров и вакханок, кружившихся в сумасшедшей пляске в бездне, среди клубящихся туч и сверкающих молний. А потом, как мне показалось, я услышал более пронзительный и сильный звук, извлеченный явно не смычком виолы, – нарочитый, дерзкий, насмешливый, доносившийся издалека, с запада.

В этот момент задрезжали ставни от свистящего ночного ветра, будто прилетевшего в ответ на безумный плач виолы. Стонущая виола Занна превзошла самое себя: я не подозревал, что она способна издавать такие звуки. Ставни задрезжали громче и распахнулись. После нескольких ударов стекло задрожало и разбилось. В комнату ворвался холодный ветер, зашелестел листьями, на которых Занн описывал свои кошмары. Свечи затрещали, замигали. Я глянул на Занна и понял, что он не в себе. Голубые глаза, невидящие, остекленелые, вытаращились от ужаса, безумная игра сделалась механической, неузнаваемой, неопикуемой какофонией.

Внезапный особенно сильный порыв ветра подхватил листы рукописи и погнал их к окну. Я в отчаянии кинулся за ними, но их уже унесло, прежде чем я схватился за прогнившую раму. И тогда я вспомнил про свое давнишнее желание посмотреть вниз из окна, единственного на Rue d'Auseil, из которого виден склон горы за стеной и раскинувшийся там город. Час был поздний, но в городе и ночью горели огни, и я надеялся, что увижу их, несмотря на дождь и туман. Я глянул вниз из окна самой высокой мансарды под завывание ветра и потрескивание мигающих свечей и не увидел внизу города, приветливых огней на знакомых улицах. Передо мной была крошечная тьма бескрайнего невообразимого пространства, тьма, исполненная движения и музыки, не имеющего ничего общего с земным. И пока я стоял, в ужасе глядя вниз, ветер задул обе свечи в старой мансарде, и я остался один в страшной непроницаемой тьме; впереди – хаос, позади – безумный дьявольский хохот виолы.

Я не мог зажечь свечи и, пошатываясь, брел в темноте, пока не наткнулся на стол, опрокинув рядом стоявший стул. Наконец я на ощупь пробрался туда, где тьма изрыгала

терзающие слух звуки. Я должен был спасти себя и Занна, какие бы силы мне ни противостояли. На какой-то миг мне показалось, что мимо скользнуло что-то холодное, и я невольно вскрикнул, но крик заглушила ужасная виола. Вдруг меня ударил безумный смычок, пиливший скрипку, и я понял, что Занн рядом. Протянув руку, я нащупал спинку его стула и потряс Занна за плечо, пытаясь привести его в чувство.

Он не реагировал, а виола кричала и стонала, как прежде. Я тронул голову Занна, положив конец ее механическому покачиванию, и прокричал ему в ухо, что нам пора бежать от неизвестных спутников ночи. Занн безмолвствовал, не прекращая своей яростной какофонии, и под ее дикие звуки по всей мансарде носились в исступленной пляске вихри. Коснувшись уха Занна, я невольно вздрогнул и понял причину своего страха, когда дотронулся до его холодного как лед, неподвижного лица с вперившимися в пустоту глазами. А потом я каким-то чудом нашел дверь, отодвинул деревянный засов и кинулся прочь от темноты, музыканта с остекленевшими глазами и дьявольского завывания проклятой виолы, с удвоенной яростью кричавшей мне вслед.

У меня до сих пор свежи в памяти воспоминания той ночи – как я перепрыгивал, перелетал бесконечные ступеньки и, выбравшись наконец из дома, мчался в безотчетном страхе по крутой старинной узкой улочке с полуразвалившимися домами, сбегал по ее каменным ступенькам вниз, потом несся по мощеным мостовым нижних улиц к гнилой зажатой складскими стенами реке, а оттуда, задыхаясь, – через мост к знакомым широким чистым улицам и бульварам. Стояла тихая лунная ночь, и весело мигали огоньки города.

Я так и не нашел Rue d'Auseil, несмотря на все старания и самые обстоятельные поиски. Но меня не очень сильно огорчила эта неудача, как и пропавшие в неведомой дали исписанные бисерным почерком листы, хоть только в них и был ключ к разгадке таинственной музыки Эриха Занна.

Перевод: Людмила Биндеман

2000 год